

Александр Куприн

Трус



Александр Куприн

Трус

«Public Domain»

1903

Куприн А. И.

Трус / А. И. Куприн — «Public Domain», 1903

«Шабаш только что окончился, но в винном погребе Айзика Рубинштейна было уже так тесно, что запоздалые посетители не находили, где присесть, и пили, стоя около чужих столиков. Сквозь туман испарений, выдыхаемых толпою, сквозь синие слоистые облака табачного дыма огни висячих ламп казались желтыми, расплывчатыми пятнами, а на каменных ноздреватых сводах погреба блестела каплями сырость. Двое прислужников, в черных передниках и кожаных нарукавниках, едва успевали разносить по столам мутное бессарабское вино, которое сам Рубинштейн, стоя за прилавком, цедил из двух больших бочек в графины...»

© Куприн А. И., 1903

© Public Domain, 1903

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	8

Александр Иванович Куприн

Трус

I

Шабаш только что окончился, но в винном погребе Айзика Рубинштейна было уже так тесно, что запоздалые посетители не находили, где присесть, и пили, стоя около чужих столиков. Сквозь туман испарений, выдыхаемых толпою, сквозь синие слоистые облака табачного дыма огни висячих ламп казались желтыми, расплывчатыми пятнами, а на каменных ноздреватых сводах погреба блестела каплями сырость. Двое прислужников, в черных передниках и кожаных нарукавниках, едва успевали разносить по столам мутное бессарабское вино, которое сам Рубинштейн, стоя за прилавком, цедил из двух больших бочек в графины. Это вино приятно было пить, особенно после острого козьего сыра, подававшегося к каждому графину, но, выпитое в большом количестве, оно кидалось в голову, делало человека крикливым и вспыльчивым и толкало к ссорам. Посетители говорили между собою, что Айзик настаивает это вино на табаке пополам с беленою, но все-таки продолжали ходить в его погреб, который был биржей и клубом для еврейского населения маленького пограничного городишки.

Жаргонный говор, то стремительный и раскатистый в середине фраз, то завывающий на окончаниях, несся отовсюду, сопровождается яркой мимикой и оживленными, преувеличенными жестами. Со стороны можно было подумать, что в погребе разгорелась общая ссора и что все посетители говорят одновременно, не слушая и стараясь перекричать друг друга. Но этот гвалт был в заведении Айзика самым обычным явлением.

Кто-то застучал ладонью по столу, как это часто делают в синагоге, чтобы прекратить шум.

– Ша! – выкрикнул резко и требовательно чей-то голос.

И десятки рук также застучали по столам, и со всех сторон нетерпеливые голоса подхватили это восклицание:

– Ша!..

На середину погреба вышло двое бродячих актеров. Один из них был небрежно и грубо загримирован стариком: куски ваты, приклеенные под носом, изображали усы, такие же белые комки спускались от щек и подбородка длинными закрученными висюльками. И все-таки, несмотря на свое убожество, этот наивный грим придавал голове актера странное и трогательное сходство с лицами ветхозаветных пророков. Длинный лапсердак старика, умышленно разорванный и заплатанный во многих местах, был в талии обмотан красным кушаком. Другой актер, рослый мужчина с короткой бородой и равнодушно-наглыми, влажными, большими глазами, был без грима и держался несколько позади старика.

– Ша!.. Тихо!.. – крикнул из-за прилавка Айзик Рубинштейн и звонко шлепнул ладонью по бочке. Шум сразу упал, перейдя в густое, протяжное гуденье.

– Это Цирельман!.. Старый Герш Цирельман, – передавали от стола к столу. – Цирельман будет давать представление.

Черные курчавые головы, в картузах и ушастых меховых шапках, повернулись назад, туловища жадно вытянулись, черные пламенные глаза с напряженным ожиданием впились в актеров.

Цирельман поднял кверху руки, отчего рукава лапсердака сползли вниз и обнажили худые, костлявые, красные кисти, закинул назад голову и возвел глаза к закопченному потолку. Из груди его вылетел сиплый, но высокий и дрожащий звук, который долго и жалобно вибрировал под низкими сводами, и когда он, постепенно слабея, замер, то слышно было, как

в погребу быстро затихали, подобно убегающей волне, последние разговоры. И тотчас же в сыром, тяжелом воздухе наступила чуткая тишина.

Старик медленно и громко вздохнул, уронил голову набок и беспомощно, с усталым видом, бросил руки вдоль тела. Постояв так несколько секунд и точно собравшись с силами, он горестно замотал головой и запел тихим, стонущим речитативом, с долгими паузами, во время которых было слышно, как шипел керосин в лампах:

– Благословен бог наш, бог сильный, приведший меня к порогу этого дома... О, как труден был мой путь! Какие знойные дни, какие страшные ночи!.. Острые камни ранили мои ноги, колючие шипы рвали мои одежды... Но вот наконец эта мирная кровля, под которой живет мой сын, мой возлюбленный, прекрасный первенец Абрам. Его сердце нежнее, чем цветок яблони... Он омоет горящие ноги старого отца, он оденет его в лучшие одежды... Вот я стучу в твои двери, сын мой. Слышит ли твоя душа, кто стоит у порога? Спешите же, отвори скорее, любимейший из моих сынов!

Стоявший сзади чернобородый мужчина засунул руки в карманы панталон и, безучастно закрывши глаза, пропел заученные слова:

– Кто там стучит у ворот? Ночь холодна, я лежу в постели и не выйду наружу.

– О сын мой, разве твоя душа не дрожит и не рвется мне навстречу? Это я – тот, кто дал тебе жизнь и свет. Это я, твой несчастный, больной, старый отец. Отвори же, отвори скорее: на улицах голодные псы воют на луну, а мои слабые ноги подкашиваются от усталости...

Он замолчал, тихо и скорбно покачивая головой. После первых же фраз слушатели привыкли к глухому и сиплому тембру его голоса и теперь глядели на Цирельмана не отрываясь, захваченные словами старой национальной мелодрамы. Убогая обстановка не мешала этим страстным подвижным натурам, жадным до всяких театральных зрелищ, видеть в своем пылком восточном воображении: и пустынную улицу, озаренную луной, и белый домик с каменной оградой, и резкие, черные тени деревьев на земле и на стенах.

Сын наконец узнал отца и отворил двери своего жилища. Ветхозаветный пророк весь дрожал от волнения, и вместе с ним тряслись и прыгали белые, закрученные космы его бороды.

– О, мое сокровище!.. Тот час, когда я впервые увидел тебя слабым и беспомощным на руках твоей матери, не был для меня так сладок, как этот, когда я снова прижимаю твою прекрасную голову к своей груди, – говорил Цирельман нараспев, рыдающим голосом.

Но чернобородый мужчина оставался непоколебимым. Он не вынимал рук из карманов и, пропев без всякого выражения свою реплику, отворачивался в сторону, сплевывая и со скукающим видом обводил зрителей наглыми, воловьими глазами. Впрочем, и по пьесе, представлявшей собою нечто вроде еврейского «Короля Лира», следовало, что сын вовсе уже не так был рад свиданию с отцом. Дом его переполнен уважаемыми, богатыми гостями, сон которых нельзя тревожить ради пришельца. Кроме того, Абрам недавно женился на красивой, знатной, изнеженной женщине: ее, наверно, стеснит неожиданное посещение оборванного, больного старика. Пусть отец уходит назад, в свой родной город. Там его знают, там его должна поддерживать община.

Между отцом и сыном происходит драматическое объяснение. Сын – человек нового поколения, он беззаботно относится к строгой вере предков, не исполняет священных обрядов старины, в его черствой, коммерческой душе нет уже места для нежных и благодарных сыновних чувств. Он с утра и до вечера трудится, промышляя кусок хлеба для себя и для семьи, и не может делиться с лишним человеком. Нет! Пускай отец возвращается назад, в свой родной город: здесь для него не найдется угла!..

Обо всем этом второй актер сообщал с полным равнодушием, медленно покачивая туловище налево и направо. Но Цирельман уже не нуждался в его поддержке. С каждой фразой его голос крепнул и в нем все сильнее, как рокот металлических струн, трепетала древняя, мно-

говековая библейская скорбь, которая, точно плач по утерянном Иерусалиме, рыдает с такой неутолимой и горестной силой во всех еврейских молитвах и песнях.

– О, горе, горе мне! – стонал Цирельман, и его протянутые вперед руки тряслись, и длинная белая борода вздрагивала. – Плюнь в мои седые волосы, брось грязью в мое старое лицо!.. Зачем я родил тебя!.. Кто на свете испытал горе, равное моему?..

Глаза его широко раскрылись и выкатились наружу из орбит, а белки их налились кровью и слезами, побледневшие губы искривились, голос то опускался до хриплого, трагического шепота, то переходил в срывающиеся вопли, похожие и на завыванье и на кашель. Конечно, эта декламация была преувеличена и, пожалуй, даже нелепа, но зрители были так увлечены и очарованы драматической сценой, что незаметно для самих себя повторяли все исступленные движения Цирельмана. Они сжимали кулаки, когда актер бил себя в грудь, и нервно потряхивали головами, когда он в отчаянии размахивал своей ватной бородой. Их одинаково волновали и страстная игра Цирельмана, и трогательность старого, давно знакомого сюжета, и отголоски священного плача, звучавшего в речитативах.

Старик понял наконец, что, найдя сына, он в то же время потерял его.

– Я уйду навсегда из твоего дома! – выкрикивал Цирельман, задыхаясь, и его тонкие, длинные пальцы судорожно рвали ворот лапсердака. – Я уйду и не призову на твою голову отцовского проклятия, которому внимает сам Иегова; но знай, что со мною уходит твое счастье и твой спокойный сон. Прощай, Абрам, но запомни навсегда мои последние слова: в тот день, когда твой сын прогонит тебя от порога, ты вспомнишь о своем отце и заплачешь о нем...

Цирельман давно уже кончил, но зрители все так же молча, неподвижно и напряженно, затаив дыхание и полуоткрыв рты, глядели на него. И так велико было очарование этих бедных, простых и горячих сердец, что они с трудом опомнились только тогда, когда Цирельман, спокойно и заботливо сняв усы и бороду, спрятал их в карман и медленно стал стаскивать с плеч заплатанный лапсердак. Говор, смех, восклицания и стук сразу хлынули со всех сторон и наполнили погреб. В эту минуту каждый зритель позабыл о том, что Герш Цирельман – пустой, ни к чему не способный человек, представитель презираемой профессии, старый пьяница, которого из-за его порока не держали ни в одной труппе. В черных глазах, устремленных на него отовсюду, блестел искренний, еще не успевший простыть, признательный восторг.

Без костюма и грима Цирельман оказался невысоким, коренастым человеком, с бритым, старым и желтым, точно изжеванным, актерским лицом и курчавыми волосами, на которых седина лежала сверху, как будто они были припудрены. Глаза под взъерошенными, неровными бровями были почти без ресниц и носили суровый, беспокойный и печальный оттенок, присущий взгляду привычных пьяниц.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.